

Самое жестокое животное —
это человек.

Фридрих Ницше

Надобно понять, что такое человек, что такое жизнь, что такое здоровье и как равновесие, согласие стихий его поддерживает, а их раздор его разрушает и губит.

Леонардо да Винчи



ОТ АВТОРА

Шла война. Чеченская. О, эти войны! Хемингуэй когда-то сказал: «Я считаю, что все, кто наживается на войне, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться». Не знаю, кто наживался на чеченской войне, но, думаю, никто из тех, кто ее затевал, наказания не понесет. Мне вообще кажется, что войны органически входят в человеческую жизнь, более того, они неотъемлемая часть нашего бытия. И это страшно. Чеченские войны конца двадцатого столетия — не исключение. Как будто что-то надломилось в нашем сознании, и вот пошло-поехало... Пакостное состояние испытываешь, когда оказываешься на такой войне. Странная она, жестокая. С чего все началось и на чьей стороне правда? А бог его знает. У каждого она своя, эта правда.



ЧАСТЬ I

I

Наш мотострелковый полк стоял неподалеку от небольшого аула, который начинался у подножия горного хребта и по пологой лощине уходил своими выложенными из дикого камня хижинами вверх — туда, где, сбегая по дну ущелья, грохотала среди валунов неширокая бурливая речушка. В аул мы не совались: задача полка была охранять входы и выходы из ущелья, которое служило повстанцам воротами из одного мира в другой — из горного, вольного и мятежного в равнинный, где войска федералов пытались вот уже какой год удержать конституционный порядок.

Лагерь, в котором мы жили, хотя и был не столь великим, тем не менее представлял суровое зрелище и напоминал стан Тамерлана: прямые ряды вылинявших армейских палаток тянулись с запада на восток, создавая атмосферу непонятной тревоги и отчаяния. При небольшом контингенте служивого люда здесь было достаточно много военной техники, начиная от тяжелых тягачей и кончая боевыми машинами пехоты; еще более жуткие черты этой прифронтовой картине придавали линии орудий, которые своими жерлами были

устремлены вверх, туда, откуда денно и ночью равнина обстреливалась чеченскими боевиками. То и дело над лагерем вдоль линии гор проносились боевые вертолеты и самолеты-штурмовики, которые вместе с пехотой несли бесконечную вахту. Безысходным казалось все: и эти унылые осенние дождливые дни, наполненные порой непроглядным всепоглощающим туманом, и эти тучи, что черным грязным месивом повисли над хребтом, и бесконечный грохот орудий... Страшно и мучительно было смотреть на окружающий мир, где все было пропитано запахом смерти.

А солдатские лица... В них ни кровинки, ни света надежды. Худые, скуластые, а глаза-то, глаза-то! Пустые, порой злые и колючие, а чаще растерянные. Они, пацаны, ничего не понимают. А самое главное, они не понимают того, почему наша хорошо обученная и вооруженная доблестная армия никак не может сладить с несколькими тысячами разрозненно действующих бандитов. Да, именно бандитов — так здесь называют боевиков. А еще их называют «чехами», иногда моджахедами и «духами» — последнее пришло по исторической цепочке из недавней афганской войны. Слово «кунак», которое некогда было самым обиходным на Кавказе, не произносится — все вокруг кавказцы кажутся врагами. Так и живем: одним глазом спим, а другим моргаем, чтоб врасплох нас чеченцы не застали.

Пацаны в камуфляже верят, что воюют за правое дело, только вера эта потихоньку тает — уверенность, как известно, вселяет в нас победа, а здесь непонятно, то ли мы побеждаем, то ли все стоит на одном месте, то ли вообще побеждают нас. Впрочем, я тоже пока верю, что мы пришли на эту землю установить мир. Для меня чеченские мятежники — люди, покусившие-

ся на конституцию, поэтому мы должны их усмирить или уничтожить. Не мы, думал я, начинали эту войну, поэтому обвинять нас не в чем. Те, кто нас обвиняет, — наши враги. Они думают, что нас можно запугать или победить. Ошибаются! Нас ни запугать, ни победить невозможно. Ведь на нас возложена миссия утвердить справедливость в этих горах, а справедливость, как известно, — высший человеческий закон. Так я думал...

Когда я прибыл в часть, меня поселили в палатку, которая находилась на западной окраине лагеря и где проживало несколько офицеров штаба. Справа и слева от нас тоже стояли палатки штабников.

Моя должность — начальник медицинской службы полка. Меня же для краткости называли начмедом — так проще. В армии вообще одни сокращения. Помните анекдот? Пока один араб, дабы предупредить своего сына об опасности, выговаривал длиннющее, словно товарный поезд, имя своего сына, враг всадил в него пулю. В армии любят краткость во всем. Потому меня и называют начмедом, потому здесь не старший помощник по строевой части, а попросту СПНШ, не заместитель начальника штаба, а ЗНШ... А еще есть начвещ, начпрод, начарт, нач. ПВО... Даже командира полка здесь зовут по-своему — «полканом».

В должности начмеда я служу уже несколько лет. До этого служил в других частях федеральных войск. Звание майора мне присвоили четыре года назад, но это все, это потолок для моей должности. Чтобы получить подполковника, необходимо перебраться в медицинско-санитарный батальон или в военный госпиталь. И такая возможность была: за месяц до того, как я попал на войну, меня собирались перевести в один из

дивизионных госпиталей Приволжского военного округа, но я попросился на Кавказ. Нет, я не герой, и мне не нужно орденов. Просто скучно стало жить на свете после моего развода с Лидусей. Она ушла к моему старому товарищу. Его фамилия Горин — мы вместе учились в медицинском. Он остался при кафедре и стал ученым, а я ушел в армию. Мы оба любили нашу сокурсницу Лидусю Свешникову, но она выбрала меня. Увы, все то время, когда мы двигались по ухабам нашей совместной жизни, я чувствовал, как в ее душе происходит какая-то бесконечная борьба. Оказывается, выбор ее не был окончательным — она продолжала присматриваться к нам с Гориным, сравнивать нас и что-то прикидывать в своей рыжей кудрявой головке. С самого начала мне стало понятно, что у нее нет ничего общего со светлыми образами декабристок, ее никогда не будут мучить приступы самоотверженности. Гарнизонная серая жизнь не для нее. Потому-то она и убежала к старому холостяку Горину, у которого после института так и не нашлось времени или же просто не появилось желания жениться. Теперь он воспитывает мою дочь. Ну да бог с ними. О своих смятенных чувствах и страданиях, которые я испытал после развода, говорить не хочу — слишком больно. А кого сегодня тронет чужая боль, когда своих трагедий хватает?

По полковому статусу я принадлежал к компании хотя и небольших, но все же начальников, потому-то меня и поселили среди штабников. А ведь я хотел пригнаться где-нибудь при полковом медпункте, среди стекляшек-колбочек, но полковое начальство, проявляя заботу о новом начмеде, сочло, что постоянно дышать лекарствами вредно, а потому предложило мне окопаться среди старшего офицерского состава.

Штабной люд воспринял мое появление, как мне показалось, не особенно дружелюбно, а скорее всего, даже угрюмо. Наверное, им не понравилась моя цветущая физиономия, какие бывают только у тыловых крыс; ветра, морозы и горячие лучи здешнего солнца сделали их лица одинаково грубыми. А еще они имели характерный кирпичный цвет — такие физиономии часто встречаются у алкоголиков. Эти ребята тоже много пили. Поначалу я удивлялся, но позже понял, отчего они пьют...

Они издевались надо мной. Я часто видел, с каким откровенным пренебрежением и даже превосходством смотрят штабники в мою сторону. Дескать, ну кто ты такой? Да никто. Случайно оказавшаяся в самом пекле войны институтка. Ты даже пороха-то, в отличие от нас, никогда не нюхал. Думается, их смущало и то, что я был военным медиком — ну что такое медик по сравнению с ними, пехотными офицерами? Обыкновенный домашний пудель рядом с обученными боевыми псами.

Впрочем, иногда мне казалось, что вместе с чувством превосходства я видел в их глазах тень непонятой мне тревоги. Слишком уж опасно порой смотрели они на меня, как будто чего-то боялись. Я думал, что это не что иное, как тень обреченности, возникшей в результате душевных переживаний, связанных с войной. Позже я выяснил, в чем тут дело. Оказывается, мой прямой подчиненный — начальник полкового медпункта капитан Савельев украдкой таскал казенный спирт, который офицеры распивали по вечерам за ужином. Вот соседи и боялись, что я положу этому конец.

Но пили не только мои соседи. С самого начала я

понял, что сухого закона здесь, в горах, не существует. Пили все: и офицеры, и прапорщики, и рядовой состав. Кто не пил, казался подозрительным. О них думали так: этот или же слабак, или сукин сын, или наркоту принимает. Были такие, в основном среди рядового состава, которые курили «чарс». Тем не менее в открытую ничего здесь не делалось: пили, как говорится, под одеялом. Армия и на Кавказе оставалась армией. Тем более что «полкан» Дегтярев был мужиком жестким. Попробуй проштрафься — по самые гланды в дерьме искупает, мало не покажется. Гауптвахта — ерунда. Было, и под суд людей отдавал, и не только рядовых, но и офицеров. Зверь, говорили о нем подчиненные, боялись его и тихо уважали. Все знали драматическую историю его жизни. Старлеем отправился воевать в Афганистан, попал в плен, бежал, снова воевал. Дослужился до замкомполка, поступил в академию имени Фрунзе. После академии остался в Московском военном округе, служил в должности командира полка, затем его забрали в Генштаб. Там его и застали события 91-го, когда вершилась демократическая революция в стране. Тогда он принял сторону мятежных политиков, членом так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП. Это и подорвало его счастливую карьеру. Не на тех поставил, говорили о нем знакомые и сослуживцы. А он им: я бы и сегодня пошел за ГКЧП. Вы посмотрите, что со страной эти демократы сделали? Вот эта его нелояльность к новой власти и не давала ему делать карьеру. Дело шло к пенсии, а он все в тех же полковничьих погонах шлепал впереди полковой колонны по пыльным дорогам войны. Но виду не подавал, что страдает. Был по-прежнему молодцеват, под-

тянут, и чувствовался в нем порыв, который бывает у законченных служаек. Ухо режь — кровь не капнет! На чеченскую попал, как в родной дом. Воевал не за страх, а за совесть, считая свое дело правым. Хотя опять же: не было бы, бурчал, этой войны, если бы не победил сатана в штанах демократа.

II

В общем, выпить в полку любили, то, что многие офицеры постоянно находились под хмельком, было заметно и невооруженным глазом. Да и низшие чины умудрялись отыскать в этих дремучих местах дядюшку Бахуса. В первый же день моего приезда я видел двух пьяных в стельку сержантов, которые с автоматами наперевес шли в обнимку по лагерю и горланили во все горло: «Комбат батяня, батяня-комбат...» Это песенка из репертуара группы «Любэ». Я невольно усмехнулся. Позже я узнал, что виноградную водку братва выменивает у горцев на тушенку, кальсоны и портянки, которые здесь с издевкой называли «портянками от кутюр». Впрочем, рядовые умельцы наладили и собственное производство напитка под известным русско-национальным названием «брага».

Что до соседей по палатке... Уже в первые минуты нашего знакомства я понял, что придется не ко двору, потребуется время, чтобы расположить их к себе. Даже литр коньяка, который я приобрел впрок в Моздоке и выставил в первый же вечер в качестве вступительного взноса, не помог мне сблизиться с ними. Их было трое. Они как будто нехотя подсели к стоящему в центре палатки небольшому складному столику, вы-

пили по первой, а потом стали молча и хмуро глядеть на меня. Я не выдержал.

— Я что-то не так делаю? — спросил.

Они переглянулись.

— Да мы что, мы ничего, не обращай внимания... — пролепетал крупный мужик в подполковничьих погонах. Это был старший помощник начальника штаба по строевой части Проклов.

Не обращай внимания! — мысленно передразнил я его. Да как же не обращать, если вы, ироды, смотрите на меня, как на агента ЦРУ?

— Знаете что, мужики, — произнес я, — давайте сразу объяснимся. Если я вам в тягость — гоните меня на ...

Вообще-то я старался всегда обходиться без мата, но тут все вышло как-то само собой. Мужики сразу заулыбались. Мое откровенное заявление насчет «эротического путешествия» им понравилось, и напряжение немного спало.

— Да мы что, мы ничего... — снова повторил Проклов. — Располагайся и чувствуй себя как дома.

Но как дома я не мог почувствовать себя в этой палатке еще достаточно долго, потому что, несмотря ни на что, мужики продолжали испытывать ко мне некоторое отчуждение. Я же, в свою очередь, продолжал попытки расположить их к себе. Что я только не делал: я рассказывал соседям смешные истории из моей военно-медицинской жизни, пробовал заинтересовать их моими познаниями в области исторических отношений между русскими и чеченцами, травил анекдоты, пел под гитару — тщетно. Лишь иногда, когда я ставил выпивку, они расслаблялись и подпускали к себе на расстояние пьяного поцелуя. Но этот период был слишком коротким: выпив с вечера и оттаяв, ут-

ром они просыпались с прежними хмурыми и недружелюбными физиономиями.

Вот дьявол! — возмущенно думал я. Неужели они так и будут издеваться надо мной? Неужто, чтобы расположить их к себе, я вынужден буду до скончания дней своих поить их водкой? Но ведь это не дело. А перспектива просматривалась довольно мрачная. Соседи мои были людьми крепкими и тренированными, поэтому сгорать от сивухи не собирались, а вот деньги у меня кончались. А тот пройдоха-старшина, что продавал никудышную осетинскую водку, за которой он специально ездил в командировку (по официальной версии, ездил на военные склады за шмотками), в долг никому не давал. Умирать будешь — глотка не даст. Казалось бы, можно было рассчитывать на денежное пособие, но его выдавали здесь нерегулярно. Это в газетах пишут, что военные в Чечне в золоте купаются. Враки! Уже в первые дни моего пребывания на войне я понял, что зима будет трудной. Продовольствия в полковых закромах — кот наплакал. Не было мяса, не было картошки — одна лишь перловка, которую солдаты называют «шрапнелью». Повара для придания ей калорий и вкуса заправляют ее подливкой из прогорклого комбижира.

Платили бы регулярно, можно было бы рассчитывать на дополнительное питание — чеченцы из аула сами приходят и предлагают сыр, солонину, кукурузные лепешки, другую снедь. Но начфин Макаров, один из моих соседей по палатке, сказал: «Бабок не ждите — в Москве бардак, одно правительство сменяет другое, так что им там не до армии». Макаров — великий плут. Говорили, что он дает казенные деньги под огромные проценты. Но ему поверили: в самом деле, Москве не

до армии. Ну а как же жить без карманных? — подумал я. Хорошо еще, что офицеров посадили на казенный кошт, но ведь деньги все равно нужны. Допустим, необходимо будет съездить в командировку, в тот же Грозный, где располагался штаб нашей дивизии. На технику не надейся — не дадут. Полк постоянно испытывает дефицит в горючем. Как тогда быть? Это хорошо, если гражданская попутка подвернется и тебя доведет бесплатно, но ведь кому-то и заплатить придется. И в долг попросить-то не у кого. Офицеры — нищета на нищете. Сами без денег страдают. Писать родным? Но кому? Родители давно умерли, жены нет. Тоска, одним словом.

Тем не менее я продолжал добывать спиртное и угощать им соседей. Они, давно пропившие свои наличные или же делавшие вид, что пропили их, с удовольствием принимали мое угощение. Мы пили, и люди добрели. И что-то рассказывали мне интересное, а я старался запомнить их рассказы, чтобы потом, возвратившись с войны, пересказывать их знакомым.

Однажды после дневных трудов, когда мы с офицерами, по обыкновению, сидели за столиком в палатке и пили водку, мне вдруг на память пришла одна забавная и одновременно драматическая история. История та была сродни моей нынешней ситуации, и я невольно улыбнулся.

Суть в следующем. В детстве у меня был закадычный дружок Володька Никаноров, с которым мы жили через стенку в кирпичной двухэтажке, там, в далеком дальневосточном городке. Потом их семья переехала в Алма-Ату. Дружок мой окончил институт, после чего стал думать, как ему устроить свою жизнь. Сделать карьеру в Алма-Ате, получить квартиру было делом

достаточно сложным, ведь, как известно, русскому и до распада Союза на национальной территории жилось не совсем уютно. Но дружок мой был малым дошлым. Усек однажды, что его начальник-казах охоч до выпивки — это он и использовал. Год поил человека дорогими коньяками, два поил, три, и когда, казалось, дела пошли, когда моего дружка уже собирались повысить в должности и выдать ордер на трехкомнатную квартиру в центре города, сердце начальника не выдержало, и во время очередного застолья он окочурился. Трагедия. Назначили нового начальника, который также оказался охоч до выпивки на дармовщинку. Мой товарищ воспрял духом и с удвоенной силой принялся ковать свое счастье. В конце концов ему повезло, и он получил все сполна. Может, подумал я, и мне повезет и эти проклятые полковые охломоны наконец смирятся с тем, что я, однажды поймав Савельева на месте преступления, строго-настрого запретил ему воровать из медпункта спирт и спаивать им штабников. А ведь именно это, я понял, было причиной того, что они дулись на меня, словно дети, и воротили от меня свои кирпичные морды.

За рядами последних палаток была луговина, и на вытолоченной траве уже с раннего утра паслись коровы и овцы. Чабан, которого звали Хасаном, на рассвете пригонял сюда из аула животных, а потом весь день носился на чалой лошадке вокруг своего гурта и гортанным голосом что-то дико кричал, при этом грозно хлопая длинной плетью. Наверное, матерится по-своему, решил я, вспомнив наших русских пастухов, этих великих матюгальщиков. У тех что ни слово, то мат. Птицы на лету дохнут от их трехэтажных проклятий. Тем не менее и у нас, и у горцев пастухов уважают, хо-

тя кто-то из бывалых вояк мне говорил, что потихоньку для чеченцев слово «чабан» становится ругательным. Чабан — значит дурак, никчемный человек. Умный чеченец раба держит — вот тот и пасет скотину.

— Шпион, ей-богу, шпион, — говорил о Хасане Проклов. — Чего он здесь крутится? Ведь не иначе что-то вынюхивает, а потом своим в горы передает.

К каждому чеченцу в полку относятся с подозрением. И Хасана все подозревают и никак не могут понять, отчего это начальство не прикажет его повязать, ну, на крайний случай, хотя бы запретить ему появляться вблизи лагеря.

— Однако надо последить за ним, — это опять Проклов про чеченца. — Вы только посмотрите на него — не человек, а абрек какой-то. Головы не видно — одна шапка баранья. А за поясом тесак. Нет, ей-богу, шпион. На что угодно могу спорить.

III

Проклову сорок лет. Это могучий увалень с крепкой башкой и бычьими глазами. В нем больше центнера веса. Но ходит и даже бегаёт без одышки. «Это не оттого, что я много жру, это наследственное, — говорит он товарищам. — У меня мать шестьдесят второго размера, и отец ей под стать».

Ко всем чеченцам, как и многие в полку, он относится с большим подозрением. Он часто, например, вспоминает случай, когда в наш полк прибежали жители аула — помогите, мол, мост ночью мятежники заминировали. Когда саперы пришли к мосту, боевики расстреляли их из засады. Жителей аула, просивших разминировать мост, задержали, началось следствие.

А они: ничего, мол, не знаем. Боевики у моста оказались случайно... Пришлось отпустить.

Но это лишь один случай, а ведь было и много других. Окунувшись в круговерть событий, размышляя над чем-то, анализируя, я все больше приходил к мысли, что жестокость и коварство, короче, все самое подлое на свете было присуще на этой войне обеим сторонам.

Я видел отрезанные головы русских солдат и растерзанные тела мирных станичников, которых чеченцы убили только за то, что они русские. Но я видел и то, как солдаты в порыве ярости избивают безоружных пленных боевиков. А бывали вещи и пострашнее. Однажды, когда я находился в командировке в Грозном, я был невольным свидетелем страшной казни. Поймав снайпершу-литовку, убившую не один десяток наших солдат, морпехи — так в армии называют морских пехотинцев — четвертовали ее, используя для этого тягу двух боевых машин пехоты... Страшное зрелище! По-хорошему, надо было бы запретить бойцам устраивать самосуд, но ни у кого из офицеров даже мысли не возникало это сделать. Гнев и звериная злоба затмили людям разум. Созналась, мол, курва, — а о чем тогда говорить?

Конечно, я по-человечески понимал ребят и даже пытался оправдать их действия. Ведь «капроновый чулок» — так мы называли женщин-снайперов — убивала их товарищей. Но мне было страшно оттого, что на моих глазах здоровые мужики буквально растерзали совершенно беспомощного в тот момент человека, притом женщину.

Эпизодов, подобных этим, было много на войне, но они быстро забывались — мы потихоньку привыкали к человеческим трагедиям. Когда каждый день происходит что-то ужасное, когда каждый день кого-то звер-

ски убивают или калечат, невольно превращаешься в обыкновенного статиста, у которого из-за кровавой оскомины притупились все чувства.

О том, что творится на войне, мы не любили говорить. Война — это петля, о которой чем больше говоришь, тем сильнее она затягивается на твоей шее. И только когда мы после трудного дня садились за накрытый в нашей палатке каким-нибудь солдатиком из хоззвода столик, когда мы выпивали по кружке водки, мы позволяли себе скупо говорить о войне.

— Эту войну заказали и теперь финансируют чеченские подпольные олигархи, — однажды после выпитого заявил начальник разведки Есаулов.

Он частый гость в нашем полевом жилище. Его палатка рядом, но у себя он не любит бывать — вместе с ним живет заместитель по воспитательной работе полка Сударев, а тот водку на дух не переносит. Вот Есаулов и торчит у соседей. Кстати, в отличие от нас, он пьет по-особому. Я, говорит, не еврей, но пью по-еврейски. Мне все равно, рюмку вы мне нальете или стакан — и от того, и от другого я буду пьян в сиську. Поэтому наливайте мне сразу кружку — хоть не так будет обидно, когда утром буду умирать с похмелья.

В тот день, кроме него, гостей в нашей палатке не было — только свои: Проклов, начфин Макаров, зам. по тылу Червоненко и я. Позже подошли полуглухой начальник артиллерии полка Прохоров и замкомполка Башкиров. Но они пришли к шапочному разбору, когда водка была уже выпита и на столе стояли пустые стаканы, а в двух неглубоких тарелках маячило полтора соленых огурца да два ломтика черствого хлеба. А ведь Башкиров был нечастым гостем в нашей палатке, а кроме того, он был нашим начальником. Что делать?

Нельзя же было отпустить человека несолоно хлебавши. А вдруг затаит на нас обиду?

Когда вошел Башкиров, все встали.

— Сидите, братцы, сидите, — махнул он рукой и невольно зыркнул на стол. Там было бедно, и нам показалось, что Башкиров вздохнул. Подполковник не такой пройдоха, как мы, и, скорее всего, не знает, где люди берут на войне водку. А ведь иногда и мертвому хочется выпить. Наверное, и Башкирову взгрустнулось.

Проклов многозначительно посмотрел в мою сторону. Я отвернул физиономию — хватит, мол, на мне выезжать, нужно и честь знать. А он подкрадывается к моему уху и шепчет: «Майор, нужна водка... Слышишь? Нет водки — тащи из медпункта спирт». А я ему: «И не подумаю!» А он: «Эх, майор, майор... Разве можно товарищей в беде оставлять? А вот Савельев бы не стал жопиться...» Это он моего заместителя вспомнил. Этот сукин сын целый год спаивал казенным спиртом своих закадычных дружков. Я порывисто вздохнул и вышел из палатки. На улице было сыро и сумрачно. Где-то со стороны аула звучал протяжный голос муэдзина, призывавшего правоверных на вечернюю молитву. «...Аллах акбар!..» — доносилось в густой мгле, и в моем воображении предстал старик в чалме, который стоял на высоком минарете и, подняв к небу руки, возносил хвалу своему Аллаху.

В медпункт я, конечно же, не пошел — отправился к тому пройдохе-старшине, у которого я теперь был постоянным клиентом и покупал водку. Его фамилия была Лебзяк. Я как-то думал над тем, откуда произошла эта паскудная фамилия, и никак не мог вникнуть в корни. Только душа моя чувствовала, что корни эти гнилые и что предки старшины были такими же гни-

лыми, как и он сам. Быть может, думал я, он вовсе не такой уж плохой парень, а невзлюбил я его просто за то, что, покупая у этого мерзавца спиртное, я невольно становился соучастником его авантюры. Ведь что ни говори, а старшина наживался на нашей общей беде, а я старательно помогал ему это делать.

Слава богу, старшина был на месте. Он встретил меня дружелюбно, пропустил в палатку, которая служила каптеркой роты материального обеспечения, и задал лишь один-единственный вопрос: «Сколько?» «Две, — буркнул я себе под нос и тут же поправился: — Извиняюсь, три!» «Правильно, товарищ майор, с двумя гранатами на амбразуру не бросаются», — подмигнув мне, весело произнес он и полез под койку. В свете горевшей свечи я видел, как он ловко выуживает из ящика поллитровки, напряженно и усердно двигая своими округлыми и упитанными ляжками.

Он передал мне водку. Расплатившись с Лебзяком, я рассовал бутылки по карманам и поплелся сквозь строй палаток к своей опочивальне — там меня с нетерпением поджидали мои собутыльники. Над лагерем повисла тревожная тишина. Полк уже отужинал и готовился к отбою. В палатках негромко переговаривались солдаты; где-то негромко звучала гитара, кто-то пробовал петь. Между рядами палаток бродили вооруженные автоматами часовые, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к шорохам или напряженно вглядываясь в темные силуэты гор, откуда в любой момент могли высыпать боевики. «Зеленку», а так мы здесь называли лесные массивы, мы боялись пуще всего на свете. Именно оттуда все ждали смерть. Врага не видно, а ты перед ним как на ладони.

— Ну вот и майор! — радостно воскликнул Проклов, увидав в моих руках водку. — Товарищ подполковник, — это он Башкирову, — я думаю, Жигареву пора орден Сутулова давать. Ведь какой герой! Пошли его хоть днем, хоть ночью — обязательно найдет ее, родимую.

Проклов, конечно же, имел в виду водку. Башкиров усмехнулся.

— Вы что, майор, в самом деле такой веселый и находчивый? — бросил он в мою сторону.

Я посмотрел на него пристально, как смотрят на человека, который причинил тебе боль. Я впервые видел Башкирова так близко. Он невысок и узок в плечах, но в его желчном худом лице просматривается некая внутренняя сила, способная подчинять людей его воле.

— Не понял, товарищ подполковник, — нахмурил я брови. Я не люблю, когда со мной глупо шутят, тем более я не люблю, когда надо мной откровенно насмеются, тем самым унижая меня.

Башкиров, видно, уловил металл в моем голосе.

— Да ладно вам, майор, — улыбнулся он. — Я ведь знаю этих подлецов. — Он бросает взгляд в сторону моих соседей. — Они и мертвого заставят с ними выпить. И ведь не отвяжешься!

С этими словами он с нескрываемой готовностью уселся на табурет, снял фуражку и бросил ее на стоящую за его спиной кровать. Проклов быстренько занялся бутылками.

— Закуски вот только нет, — проговорил он недовольно.

— А это что тебе — не закуска, что ли? — указал на полтора огурца начфин Макаров.

— Ладно, сойдет, — согласно кивнул Проклов, ловко сдергивая с горлышек жестяные пробки.

Выпили. Башкирову, как старшему офицеру, Проклов налил двойную дозу — пусть, дескать, дойдет до общей кондиции. А глухому Прохорову, который вслед за Башкировым зашел в нашу палатку на огонек, Проклов лишь слегка плеснул на дно — обойдется-де. Вот коли бы со своей бутылкой пришел...

Потом мы еще выпили, и у нас снова появилось желание пофилософствовать о войне.

— Ты что-то там про чеченских олигархов начал говорить, — подбросил в печку дров Макаров, обращаясь к Есаулову. — Или уже забыл, о чем хотел сказать?

— И ничего я не забыл, — вроде как обиделся Есаулов. — Чеченские олигархи, как пить дать, и есть движущая сила войны.

— О, я как погляжу, вы не только сибариты, но и философы, — с иронией в голосе проговорил Башкиров.

Проклов вытаращил на него глаза.

— Сибариты? Это что, алкоголики, что ли? Я такого слова не знаю, — заметил он.

— Сибариты — это значит склонные к праздности люди, — перевел я Проклову трудное для него слово.

Проклов усмехнулся.

— Да какие мы, к черту, праздные люди, товарищ подполковник, — с укором посмотрел он на своего прямого начальника. — Мы — волки войны. А водка — это так, профилактическое мероприятие. Вечером смазал — утром поехал. Как тот двигатель внутреннего сгорания.

Проклов говорил истину, и офицеры крикнули удовлетворенно.

— Ну что, Паша, молчишь? Давай, говори про здеш-

них олигархов, а мы послушаем, — снова тормозит Есаулова Макаров.

— А что о них говорить? Сволочи они все, — закуривая сигарету, отвечает начальник разведки.

Я усмехнулся.

— Сегодня вообще трудно найти хороших людей, — говорю.

Есаулов как-то странно посмотрел на меня.

— А себя ты к каким людям относишь? — спросил он меня.

— Наверное, тоже к плохим, — отвечаю ему. — Если бы я был хорошим, от меня бы не ушла жена.

— Блядь она, вот кто! Была бы доброй бабой — разве бы ушла? — резюмировал Проклов.

Я вспыхнул.

— Не смейте так говорить о человеке! — зарычал я. — Вы же не знаете ее...

— Ее, может, и не знаю, знаю других. А их сегодня навалом, — говорит Проклов. — Предают мужиков на каждом шагу. Особенно нашему брату, офицеру, достается. Мы ведь нищие, всю жизнь то в командировках, то на полигонах. Теперь вот война. А они там... — Он махнул куда-то рукой и замолчал. Похоже, у него вдруг испортилось настроение.

— Не надо так плохо о женщинах, — сказал Башкиров. — Не все же они... — Он хотел подобрать нужное слово, но не смог.

— Все! — рубит с плеча Проклов. — Я вот и своей сказал, когда расставались: узнаю, говорю, что блудишь, — задушу, как последнего врага народа. А она: да ты что, Степа, ты что! Подумай, что ты говоришь. У-у! Убил бы их всех.

В палатке возникла нечаянная пауза. Все, видимо,

вспоминали своих жен и переваривали сказанное Прокловым. Возникшую тишину нарушил голос Башкирова.

— А это вы помните? — сказал он, обращаясь не то к Проклову, не то ко всем офицерам сразу. Он стал громко декламировать стихи:

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера...»

— Симонов, — усмехнулся Проклов.

— Он, — подтвердил Башкиров. — А помните, чем заканчивается? — И снова заговорил стихами:

«...Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой, — Просто ты умела ждать, Как никто другой».

— Вот так-то, — многозначительно произнес Башкиров и поднял указательный палец вверх. — Надо верить в женщин. Если мы не будем им верить, стоит ли кровь свою проливать? За себя, что ли, воюем? За них, за них...

— За государство родное мы воюем, — изрек начфин Макаров.

— «За государство»! — с некоторой иронией повторил его слова Башкиров. — А что есть такое государство? Это наши женщины вместе с нашими детьми. Вот за них и воюем. Чтобы ни один сукин сын не мог сделать им больно. Ни один!

Проклов, учуяв важную минуту, тут же плеснул всем водки. Офицеры подняли кружки.

— За женщин! — тряхнув толстыми брылями, про-

изнес тост зам. по тылу Червоненко и встал. За ним встали остальные офицеры.

— За женщин! За любимых!..

Выпили. Потом незаметно разговорились о войне.

— Все террористы считают себя бойцами за идею, — говорил начальник разведки Паша Есаулов, имея в виду чеченских боевиков, — а какая у них, к черту, идея?

— Ну как же! — возразил я. — Борются за независимость...

— А от кого, интересно, они хотят быть независимыми? — ершился разведчик. — От закона? Так не выйдет! Ни газават их, ни джихад не пройдут. Это все прикрытие для паскудных их делишек.

— Что, что ты сказал? — не дослышал полуглухой начальник артиллерии полка Прохоров.

— А то, что ничего у бандитов не выйдет! — горячился Есаулов.

В разговор включился Червоненко.

— Говорят, чеченцы смертников начали готовить в специальных лагерях, — сказал он. — Подойдет такой к тебе — ба-бах! — и кранты... Худо, братцы, худо. И когда это все кончится...

— Да вот когда мы их прижмем, когда уничтожим основную массу бандюг — тогда все и кончится, — с уверенностью в голосе изрек Проклов.

Макаров усмехается.

— Плохо ты, дорогой, историю знаешь, — проговорил он. — Если бы хорошо ее знал, не смешил бы нас так.

— А что тут смешного? — не понял Проклов. — Ты не хочешь верить, что мы их прижмем?

— А ты знаешь, сколько Россия уже с Чечней воюет? — вопросом на вопрос ответил Макаров.

— Не знаю, не считал, — недовольно буркнул Проклов.

— Вот то-то и оно, что не считал. А я тебе скажу: с начала девятнадцатого века мы с ними воюем. А чеченцы говорят и другое: дескать, война уже длится четыреста лет.

— Ну, если их слушать, так мы со времен Адама с ними враждуем, — съязвил Червоненко.

— Чего-чего? Я что-то не расслышал, что ты сказал? — повернул к зам. по тылу свои бесцветные глаза такой же бесцветный, выглядевший вечно растерянным и несчастным Прохоров.

— У, глухая тетеря, — проворчал Проклов. — Уж лучше бы и не спрашивал — все равно ничего не поймет.

— Он у нас самый счастливый человек, — сказал я. — Ведь люди говорят много недобрых слов, а недобрые слова — это отрицательная энергия, от которой почти все наши болезни. Прохоров же слышит только часть всего этого.

— Это вы как доктор нам заявляете? — улыбнувшись, спросил Башкиров.

Я пожал плечами.

— Очевидный факт.

— Хочу тоже быть глухим, — ерничает Макаров. — Тогда точно до ста лет доживу.

Проклов машет на него рукой, дескать, куда тебе, а потом обращается к Прохорову:

— Слышь, Петруха, а отчего ты такой глухой?

Прохоров расслышал вопрос, смутился. Ему на помощь приходит Макаров.

— А где ты видел артиллериста с хорошим слухом? — спрашивает он Проклова. — Ведь они возле пушек всю свою жизнь торчат, а те грохочут — не приведи госпо-

ди. Помню, под Гудермесом стояли... Я впервые тогда на войну попал... Вечером артподготовка. Что тут началось! Грохот стоял такой, будто бы планета рушилась. Я потом долго глухарем ходил — не мог слышать, что мне говорили.

Услыхав такое, Проклов усмехнулся.

— Ты и сейчас плохо понимаешь, что тебе говорят, — произнес он. — Сколько я уже прошу, чтобы аванс дал, а ты и ухом не ведешь.

— Нету денег, нет, — который уже раз повторяет Макаров. — Сам сижу без копыя. А эти там, — он тычет большим пальцем вверх, — и не шевелятся.

Он, конечно же, имел в виду высокое начальство. Макаров всегда тычет большим пальцем вверх, когда его спрашивают о деньгах. Мол, обращайтесь туда, что вы меня атакуете?

— Однако пора сокращать должность начфина, — вздохнув, произнес Проклов. — А на хрена она нужна, коль он деньги нам не платит? Зачем лишний рот содержать?

— Должность старшего помощника начальника штаба тоже нужно сокращать, — ударом на удар отвечает маленький прыткий Макаров.

— Это почему еще? — не понимает Проклов.

— А что от тебя толку? Ты ведь, майор, все по строевой части, а на кой ляд твоя строевая на войне? — зубоскалит Макаров.

— Ну, капитан, ты даешь! — возмущенно произносит Проклов. — Да как же армия без строевой части? Ты подумал? Строевая часть — это основа основ! Я так говорю, товарищ подполковник?

Башкиров вместе с другими офицерами смолит од-

ну сигарету за другой. Кажется, он не торопится уходить — здесь тепло и уютно.

— Штатное расписание полка не нами придумано, не нам его и менять, — решил отделаться он ничего не значащей фразой.

— Так-то так, — соглашается Макаров. — Только я думаю, что можно было бы и ужать офицерский штат — больно много едоков.

Я понимал его: это была точка зрения финансиста. А финансисты, как известно, жмоты.

— Если бы мне пришлось утверждать наше штатное расписание, я бы многих поувольнял, — продолжает развивать свою мысль Макаров. Он понимал свою значимость и никого не боялся. Даже полкового «молчи-молчи» — так мы называли начальника контрразведки.

— Например? — ухмыляется Проклов.

— Ну, с твоей должностью все понятно, — говорит Макаров. — Ее нужно первой сокращать. Кроме тебя я бы сократил еще начпрода — все равно одной «шрапнелью» питаемся, а ее и без него завезут. Кто еще? Ну, начвеша можно сократить, начальников инженерной службы, автослужбы... Зам. по тылу...

— Ну-ну, мели, Емеля! — когда Макаров задел и его, возмущенно вымолвил Червоненко. — Может, ты и должность замкомполка хочешь сократить?

Червоненко думал, что Макаров споткнется на этом, но он изрек невозмутимо:

— И эту должность сократил бы. Зачем столько замов? Замкомполка, замначштаба, зам. по воспитательной работе...

Все поглядели на Башкирова, думали, он начнет отстаивать свое место под солнцем, но он только улыб-